



А. БЕЛЫЙ

Начало века (отрывки)

МЕРЕЖКОВСКИЙ И БРЮСОВ

С Брюсовым встретился я 5 декабря 1901 года; с Мережковским — на другой же день. Совпадение встреч — жест; Брюсов меня волновал «только» литературно; а Мережковский — не только; анализ, произведенный Д. С. Мережковским образом Льва Толстого и Ф. Достоевского, выявил: оба они завершают-де собой мировую словесность:

«От слова — к действию, к преображению жизни, сознания!» По Мережковскому, Толстой ведает плоть; Достоевский же — дух; Лев Толстой сознал, что из плоти рождается новое знание; его ошибка: за поиском знания он убегает в мораль; Достоевский же не понимает, что дух обретается в теле, не в вырыве в небо; чиста-де плоть у Толстого, здорова, а он, больной духом, бежал от нее; дух-де здоров в Достоевском, а он — эпилептик.

Литература в обоих есть выход из литературы; в обоих уж слово становится делом. Задание Мережковского: выявить общину новых людей, превративших сознание Толстого и Достоевского в творческий быт; эта община была бы третьим заветом, сливающим Новый и Ветхий.

— «Иль — мы, иль — никто!» — восклицал Мережковский, грозяся пожаром вселенной; ходил по Литейному, будто в кармане он держит флакон с эликсиром; глотни — и заплывятся души, тела.

Мой отец, далеко отстоявший от преи, поднимаемых Розановым, Мережковским и Минским с епископами, видел в Д. С. Мережковском проблему романов его: т. е. — видел тенденцию правой культурной борьбы с заскорузлым церковным монашеством;

мы, изучавшие пристальной книге писателя, не ограничивались таким трезвым разглядом. И М. С. Соловьев полагал: Мережковский — радеющий хлыст, называющий пляс и, как знать, свальный грех свой огнем, от которого-де загорится вселенная.

Все то, что до нас доходило о деятельности религиозно-философских собраний, тогда начинавшихся в Питере, сосредоточивало интерес к Мережковскому.

Коль он зенит, то В. Брюсов — надир: «Только литература!» Но Брюсов вкладывал в «только» весь пыл проповедника; миф для него был лишь материалом к сочетанию слов: он с одинаковым пылом готов был отдаться анализу слов Апокалипсиса, рун, магических слов обитателей острова Пасхи, проблем Атлантиды; писал он:

И господа и дьявола
Хочу прославить я.

Прославить для Брюсова — вылепить в слове. Д. С. Мережковский мирился со всем, но не с этим; «народник», «марксист», ницшеанец, поп и атеист еще находили убежище в его пустой, но красивой риторике; Брюсову ж не было места в ней; так что «декаденты», по Мережковскому, — валежник сухой; малой искры достаточно, чтобы они вспыхнули; они — трут, на который должна была пасть искра слов его; вспыхнувшими декадентами эта синица хотела поджечь свое море: ему ли де не знать «декадентов», когда он и сам — декадент, победивший в себе «декадента».

Д. С. Мережковского не понимали в те годы широкие массы; его понимал Михаил, православный епископ; да мы, «декаденты», читали его. Брюсов, тонкий ценитель «словес», был в те дни почитателем этого стиля — «и только»: о всяком «не только!». Как мог он обидеться на отведенную роль ему? Умница, он понимал: исцеленье его Мережковским есть «стиль» Мережковского; Брюсов-стилист был не прочь исцелиться для... Гиппиус, чтобы отобрать в «Скорпион» цикл стихов у нее; он ковал ведь железо, пока горячо, для готовимого альманаха и для «Скорпиона»; точно торговец мехами, в Ирбит отправляющийся, чтобы привезти с собой мех драгоценный, таскался он затем в Петербург, чтобы у Гиппиус для «Скорпиона» стихи подцепить; подцепив, привозил, точно мех черно-бурой лисицы.

— «Привез...»

— «Стихи — дрянь; ну, а все-таки — Гиппиус... «Скорпиону» приходится денежно жаться... Они запросили... Ну что же, Баль-

монт даст задаром, и кроме того: Юргис *, я, вы — напишем; не правда ли?»

Не раз меня Гиппиус спрашивала:

— «Платить будут? Коли платить будут, то — дам... Вы наверное знаете, — будут?»

Венец юмористики: Гиппиус и Мережковский прекраснейше сознавали вес Брюсова: в «завтра»; и даже — значенье расширенного «Скорпиона», который и им служил службу; они были гибкие в смысле устройства своих личных дел; так антидекадент и враг церкви печатался сам в «Скорпионе». Венец юмористики: когда в 1903 году начинался журнал «Новый путь», Мережковские никого пригласить не сумели для заведования отделом иностранной политики, кроме «беспринципного» Брюсова; он, кажется, прозаведовал... с месяц; и — бросил.

При встречах друг с другом они осыпали друг друга всегда комплиментами:

— «Вы, Валерий Яковлевич, человек будущего!» — вопил Мережковский.

— «Прикажете, и — “Скорпион” к вашим услугам», — изысканно выгибался перед Гиппиус Брюсов. Заочно ругали друг друга:

— «“Новый путь”, Борис Николаевич, заживо сгнил», — с восхищением докладывал Брюсов, вернувшийся из Петербурга: мне.

— «Зиночка сплетничает», — он докладывал.

— «Боря, как можете жить вы в Москве: “Скорпион” — дух тяжелый, купецкий. Как можете вы с этим Брюсовым ладить?» — кривила накрашенный рот свой мне Гиппиус.

— «Боря, вам гибель в Москве!» — Мережковский. И я распинаялся:

— «Да вы не о том», — распинался с отчаяньем я на Литейном.

— «Да вы не о том», — распинался с отчаяньем я в «Скорпионе».

Две эти фигуры, возникнувши в 1901 году предо мной, в те же дни, в декабре (один пятого, другой шестого), вдруг быстро приблизились, как бы хватая: Д. С. Мережковский за левую руку и Брюсов — за правую: Брюсов тащил меня в литературу: в «реакцию» по Мережковскому; а Мережковский — в коммуны свою:

— «Боря, бойтесь Валерия Брюсова и всей пошлятины духа его!»

* Ю. К. Балтрушайтис — в те годы «молодой» поэт «Скорпиона».

— «Зина думает...» — скалился Брюсов, глумясь над жалкостями беспринципных «пророков».

Как странно: тащивший «налево» Д. С. Мережковский пугался меня в девятьсот уже пятом как «левого»; «правый» же Брюсов стал не на словах, а на деле: действительно левым.

Я в 1901 году лишь испытывал трудность раздвигаться меж Д. С. Мережковским и Брюсовым, не примыкая к обоим в позиции, в идеологии; сложность ее — в иерархии граней; в одной допускались условно и временно оцупи Д. Мережковского; в другой же выметались проблемы формы по Брюсову; центр, ориентирующий обе эти проблемы, — та именно теоретическая проблема, для формулировки которой еще надо было одолеть, по моим тогдашним планам, Канта.

И тут мне влетало от всех: студент Воронков, застревая в тенетах гносеологических терминов («апперцепция», «коррелат», «факт, идентичный идее»), махал лишь рукой:

— «Бугаев точно говорит по-китайски».

Заноза Петровский подтрунивал:

— «Знаете, философутики я не люблю», — уж и слово приду- мал!

Прималкивал скорбно М. С. Соловьев. Брюсов в первой же встрече воскликнул:

— «Зачем с философией вы, когда песни и пляски есть!»

Как впоследствии воспринимал Мережковский мои «коррелаты» — не знаю, потому что — молчал лишь: глазами похлопывая.

Блок — тот рисовал на меня безобидные карикатуры.

Не видели стержня теорий моих, моего устремления к «критицизму»; для Брюсова он — игра скепсиса; для Мережковского — моя тоска по действительности.

В. Брюсов играл в философские истины; и на «критические» рассужденья весело подсыпал он софизм; а Мережковский любил философствовать: не от меня — от себя, и тут делался Кифой Мокиевичем*; употребление им терминов — просто юмора.

Брюсов и Д. Мережковский меня не желали понять, полагая, что точка, центральная, моих теорий есть «муха», заскок, в лучшем случае лишь извиняемый ввиду неопытной молодости; эту «муху» стирал Мережковский, старался мне доказать, что она лишь препятствие в жизни в их «общине»; Брюсов доказывал, что эта «муха» препятствует моим стихам.

* Кифа Мокиевич — гоголевский тип (см. «Мертвые души»).

Мои близкие связи с Мережковским и с Брюсовым длились до 1909 года; к концу 908-го рвались нити, связывавшие с «общинной» Мережковского *, и рвались нити «Весов», иль культурного дела с В. Брюсовым; это я выразил в лекции «Настоящее и будущее русской литературы», прочитанной чуть ли не в дни семилетия с дней первых встреч: декабря этак пятого или седьмого; в той лекции я сформулировал полный расщеп между словом и делом: у Брюсова и у Мережковского.

Оба — присутствовали на лекции: Мережковский вставал возражать; Брюсов, кажется, нет.

Семь лет ширились ножницы между обоими; силился согласовать себя: с тем и с другим; мои ножницы после сомкнулись: вне Брюсова, вне Мережковского.

ВСТРЕЧА С МЕРЕЖКОВСКИМ И ЗИНАИДОЙ ГИППИУС

Шестого декабря, вернувшись откуда-то, я получаю бумажку; читаю: «Придите: у нас Мережковские». Мережковский по вызову князя С. Н. Трубецкого читал реферат о Толстом; он явился с женой к Соловьевым: оформить знакомство, начавшееся перепиской.

Не без волнения я шел к Соловьевым; Мережковский — тогда был в зените: для некоторых он предстал русским Лютером **.

Теперь не представишь себе, как могла болтовня Мережковского выглядеть «делом»; а в 1901 году после первых собраний религиозно-философского общества заговорили тревожно в церковных кругах: Мережковские потрясают-де устои церковности; обеспокоился Победоносцев; у Льва Тихомирова только и говорили о Мережковском; находились общественники, с удовольствием потиравшие руки:

— «Да, реформации русской, по-видимому, не избежать».

В «Мире искусства», журнале, далеком от всякой церковности, только и слышалось: «Мережковские, Розанов». И в соловьевской квартире уже с год стоял гул: «Мережковские!» В наши дни невообразимо, как эта «синица» в потугах поджечь океан так могла волновать.

* Он хотел видеть общиной кружок «близких» ему литераторов.

** Разумеется, эти представления оказались иллюзиями уже к 1905 году.

Гиппиус, стихи которой я знал, представляла тоже большой интерес для меня; про нее передавали сплетни; она выступала на вечере, с кисейными крыльями, громко бросая с эстрады:

Мне нужно то, чего нет на свете.

И уже казалось иным: декадентка взболтнула устой православия; де синодальные старцы боятся ее; даже Победоносцев, летучая мышь, имел где-то свидания с ересиархами, чтоб образумить их.

В тесной передней встречаю О. М.; ее губы сурово зажаты; глаза — растарачены; мне показала рукою на дверь кабинета:

— «Идите!»

Взглянул вопросительно, но отмахнулася:

— «Нехорошо!»

И я понял: что в Соловьевой погиб ее «миф»: что-то было в лице, в опускании глаз, — в том, как, приподымая портьеру, юркнула в нее, точно ящерка; и я — за ней. Тут зажмурил глаза; из качалки — сверкало; З. Гиппиус точно оса в человеческий рост, коль не остов «пленительницы» (перо — Обри Бердслея); ком вспученных красных волос (коль распустил — до пят) укрывал очень маленькое и кривое какое-то личико; пудра и блеск от лорнетки, в которую вставился зеленоватый глаз; перебирала граненые бусы, уставясь в меня, пята пламень губы, осыпаясь пудрою; с лобика, точно сияющий глаз, свисал камень: на черной подвеске; с безгрудой груди тарахтел черный крест; и ударила блесками пряжка с ботиночки; нога на ногу; шлейф белого платья в обтяжку закинула; прелесть ее костяного, безбокого остова напоминала причастницу, ловко пленяющую сатану.

Сатана же, Валерий Брюсов, всей позой рисунка, написанного Фелисьеном Ропсом, ей как бы выразил, что — ею пленился он.

И мелькнуло мне: «Ольга Михайловна: бедная!»

«Слона» — не увидел я; он — тут же сидел: в карих штаниках, в синеньком галстучке, с худеньким личиком, карей бородкой, с пробором зализанным на голове, с очень слабеньким лобиком вырезался человек из серого кресла под ламповым, золотаватым лучом, прорезавшим кресло; меня поразили двумя темными всосами почти до скул зарастающих щек; синодальный чиновник от миру неведомой церкви, на что-то обиженный; точно попал не туда, куда шел; и теперь вздувал вес себе; помесь дьячка с бюрократором; и вместе с тем — «башка». Это был Д. С. Мережковский!

И с ним стоял «черный дьявол», написанный Ропсом в сквозных золотых косяках, или — Брюсов; О. М., как монашенка, писанная кистью Греко, уставилась башенкой черных волос и болезненным блеском очей; сам голубоглазый хозяин, М. С. Соловьев, едва сохранял равновесие.

Я же нагнулся в лорнеточный блеск Зинаиды «Прекрасной» и взял пахнущую туберозою ручку под синими блесками спрятанных глаз; удлиненное личико, коль глядеть сбоку; и маленькое — с фасу: от вздерга под нос подбородка; совсем неправильный нос.

Мережковский подставил мне бело-зеленую щеку и пальчики; что-то в жесте было весьма оскорбительное для меня.

Я прошел в угол: сел в тень; и стал наблюдать.

Мережковский в ту пору еще не забыл статьи Владимира Соловьева о нем, напечатанной в «Мире искусства»; М. С., брат философа, чуялся ему — врагом; я как близкий дому Соловьевых, наверное — враг; вот он и хмурился. Гиппиус, оберегая достоинства мужа, дерзила всем своим вызывающим видом (а уме-ла быть умницей и даже — «простой»).

Понесло чужим духом: зеленых туманов Невы; Петербург — хмурый сон.

Мережковский впервые ж предстал как итог всех будущих наших встреч и хмурым и мелочным.

Сколько усилий позднее я тратил понять сердца этих «не только» писателей! Буду ж подробно описывать, как и я уверовал в их головные сердца, как пускался слагать слово «вечность» из льдинок, отплясывая в петербургской пурге с Философовым Дмитрием и с Карташевым Антоном. Что общего? Семинарист, правовед и естественник, сын профессора!

Нет, я не помню решительно, о чем говорилось в тот вечер; борода М. С. Соловьева высовывалась из тени и точно тщетно тщи-лась прожать разговор:

— «Не хотите ли чаю?» ...

— «Нет», — нараспев, пятя талию, Гиппиус; ее крест на груди стрекотал; вот в нос В. Брюсову вылетел из губы ее синий дымок; она игнорировала тяжелое напряжение, потряхивая прической ярко-лисьего цвета.

А Брюсов ей славил и бога и дьявола!

С легкостью, уподобляясь пращинке, «знаменитый» писатель, слетевши с кресла, пройдясь по ковру, стал на ковре, заложивши ручонку за спину, и вдруг с грацией выгнулся: в сторону Гиппиус:

— «Зина, — картавым, раскатистым рыком, точно с эстрады в партере, — о, как я ненавижу!»

И из папирозного дыма лениво, вращаясь, раздалось:

— «Ну, уж я не поверю: кого можешь ты ненавидеть?»

— «О, — хлопнувши веком, точно над бездной партерных голлов, — ненавижу его, Михаила!»

Какого?

Викария*, оппонента религиозно-философских собраний.

Нет, почему «Михаил» этот выскочил здесь!

— «Я его ненавижу», — повторил Мережковский и выпучил темные, коричневатые губы; но блеск обведенных, зеленых, холодных, огромных пустых его глаз — не пугал: ведь Афанасий Иванович дразнился, откушавши рыжиков, перед Пульхерией Ивановной: саблю нацепит и в гусары пойдет.

О, синица не раз поджигала моря, закрывала даже Мариинский театр 9 января; и пугался: де полиция явится! Так же она одно время старалась в Париже привлечь к себе внимание Жореса**, пугаясь Жореса, привлекала к изданию сборника, после которого въезд ей в Россию отрезан; въехала она благополучно в Россию и забрасывала правительство из окон квартиры на Сергиевской градом бомб, но — словесных.

— «Нет, вы — не общественник! А революция — есть ипостась».

— «Как, четвертая?»

От подлинной революции улепетнула: в Париж.

В тот же вечер, не зная синичьих свойств этих, и я содрогался рыканию: за... «Михаила» несчастного.

После дружили они...

Кто-то, помнится, тщился высказать что-то: про чьи-то стихи (чтобы — «ярость» погасла); став пасмурным «бляшкой», Мережковский похаживал по ковру, в карих штанишках, руки закинув за спину, как палка, прямой: двумя темными всосами почти до скул зарастающих щек, пометался вдоль коврика из синей тени — на ламповый золотистый луч; и из луча — в тень, бросал блеск серых, огромных, но пустых своих глаз; вдруг он осклабился:

— «Розанов просто в восторге от песни». И — маленькой ножкой такт отбивая, прочел неожиданно он:

* Позднее Михаил, став епископом, дружил с Мережковским, порвал с православием и перешел в старообрядчество.

** Мне по странной случайности судьбы пришлось знакомить Мережковских с Жоресом. Это было в Париже: в 1907 году.

Фонарики-сударики горят себе, горят;
 Что видели, что слышали — о том не говорят .

И на нас пометался глазами: «Что?.. Страшно?..»

И сел; и сидел, нам показывал коричневые губы: пугался фонариков!

Думалось: что это продувает его? И припомнились вновь сквозняки Петербурга, дым, изморозь, самые эти «фонарики»: из-за Невы; в рое чиновников тоже чиновник — от церковочки собственной. Победоносцев синода, в котором сидели: Философов, Антон Карташев, Тата, Ната и Зина, — таким был в действительности Мережковский.

— «Аскетом — веригами угомонить свои плоти пудовые, — свесилась слабая кисть, зажимавшая дамскими пальчиками темно-карее тело сигары с дымком сладковатым, как запах корицы, — плоть наша, — схватился за ручку от кресла, чтобы не взлететь в ветре голоса, — точно пушинки».

И стал арлекином, беззвучно хохочущим: видно, опять накаатило.

— «Да тише ты, Дмитрий!»

Он тут же ослаб, ставши маленькой бляшкой.

Я же думал: «Какой неприятный!»

Мне все это — с места в карьер; и я обалдел от бессмысленных фраз (потому что даже не знал я начала беседы), от блеска лорнеточного Зинаиды Гиппиус, от растера хозяев, который во мне отозвался двояким растером: описываю так, как виделось, воспринималось; а виделось, воспринималось — абракадаброю.

Но тут Гиппиус, прерывая тяжкое сиденье, встала, моргая ресницами, желтыми, брысыми, личика точно кривого; за ней встал Мережковский, — удаленький и неприятный такой; очевидно, его «дьяволица» * водила на розовой ленточке при исполнении миссии очаровать сатану, чтобы в нужный миг он, спущенный с розовой ленточки, начал откалывать скоки и брыки в набитом «чертями» театре вселенной.

— «Пора и честь знать!»

Чета в сопровождении хозяйки — прошла в переднюю; черный дьявол, Валерий, — за ними.

М. С. Соловьев, нос повеся, в дымках нас оглядывал: с юмором вышмыгнула из передней О. М.; подняла на меня напряженные очи:

— «Что?»

Губы дрожали.

* «Белая дьяволица» — выражение из романа Мережковского.

— «Сомнения нет никакого», — сказал Соловьев, стряхнув пепел в массивную пепельницу; и пошел открыть форточку: выветрить запах сигары.

ПРОФЕССОРА, ДЕКАДЕНТЫ

А на другой день Д. С. Мережковский читал в Психологическом обществе, в зале правления университета, которая окнами полуовальной стены закругляется на Моховую; в этой комнате я отсидел год назад реферат «Математика и научно-философское мировоззрение»; странно мне было увидеть в почтенном сем месте прически а-ля Боттичелли среди роя седин и мастито лоснящихся лысин; вот — старый Лопатин, Лев, князь Сергей Трубецкой; а вот — быстрый Рачинский, угрюмый Бугаев; вот — канцлер традиций, весь седенький: доктор Петровский; вот — окаменелость: профессор Огнев; как, как, — Иловайский? Матрона багровая загородила его: не уверен; и тут же — как странно их видеть: Сергей Поляков, Балтрушайтис и Брюсов; и юноши дерзкого вида среди тихих магистров, просто студентов, при профессорах.

В. Я. Брюсов, взяв под руку, меня ведет к сестре своей, Надежде Яковлевне; она пырскает молодо глазом; маленькая, большелобая, сухо-живая; она — точно ящерка; рядом с нею я сел; она — шепчет мне:

— «Скажите, а кто этот свирепого вида профессор?»

— «Отец!»

— «Ах!» — сконфуженно вспыхивает.

Мой отец — оппонент неизменный — сутуло засел за свирепые торчи усов; и горбатую грудью сорочки отчаянно щелкает в споре, потягивает, как большой цепной псище.

В дверях, — точно палочка: черная талия Зинаиды Гиппиус; сыплется в лысины острый лорнеточный блеск; обалдел входящий Мережковский, проваливаясь у нее за плечами и выглядывая из-за плечей и хлопая пусто-сквозными глазами; он ей — по плечо; князь Сергей Трубецкой приближается к ним; рядом с «крошкой»-писателем кажется как на ходулях: худой, сухой, длинный; с верблюжьей, протянутой шеей, ведет Мережковского; вот уже у стола они; вот Мережковский стоит под микиткой его, подпирая ручонку в бочок; Трубецкой, опустив волосатые длинные руки, с надменством согнулся под ухо; и что-то твердит, объясняя: он здесь председательствует; вот уж все сели; про-

фессора губами жуют, протягиваясь за бумагой, за карандашами; Лопатин пропятился из-за плеча под зеленым сукном, точно леший из чащи, мотаясь заранее злыми глазенками и выдаваясь губой, — красной, нижней: почти на вершок из усов; и над головой, точно скифское идолице, каменеет безруко профессор Огнев; что за достойная мумия, великолепная и седо-серая, выщербленная в спинке кресла? Владимир Иваныч Герье.

Но — звонок; Мережковский, посаженный в центр, ниже всех, как мертвец, потемневший от всосов почти до скул зарастающих щек, с перепугу картаво завякал коленчатую загогулиной фразы, составленной из друг друга пронизывающих придаточных лишь предложений, весьма нарумяненных и набеленных: кричащей метафорой; и даже я за него потрясен: можно ль, идя сюда, приготовить такую штуковину? Рукопись, верно, — для «Мира искусства»; расписанная киноарями риторических великолепий, пленила бы она «дидаascalоса» времен Юлиана отсутствием понятий; и — букетом метафор; одни импрессию: второе пришествие-де уже близко (у старцев подпрыгнули плечи, подпрыгнули даже очки на носсах); наша интеллигенция-де своего «да» не имеет еще (старцы прянули стадом седастых козлов); «плоть»-де Толстого — свята («хе-хе-хе» — и шепот анекдотов про Софью Андреевну седыми усами под уши: друг другу); а бледный «барашек», глаза уронив в свою рукопись, бледно оскалась с искусственным рыком, под «левика», чуть ли не плача, не может все кончить коленчатой фразы; наконец — кончил; и хлопает оком: на матрону багровую; эта матрона — опаснее мужа! Синклит закусивших губы строчит возраженья свои: «контрадикцию» или — «петицию»*; превосходен стиль реферата, но им красоваться в сем месте — Рафаэля подставить: под гиппопотамову морду; и — фырк; мне, ценителю стиля, и жутко и грустно: все ж — жалкая схемочка! И гимназист не осмелится: ей разразиться; и все мы — я, В. Брюсов, мадам Образцова, мясистая дама-модерн, в перерыве не говорим о случившемся.

Мережковский среди гробового молчания, отойдя к жене, лишь для вида — ручку свою под бочок: всеми брошенный, — силится он повеселеть; а кругом раздается:

— «Вы поняли?»

— «Нет».

— «Я — ни слова!»

Сергей Трубецкой переносит головку над всеми седидами, ею вертя, как верблюд средь пустыни, ища оппонентов: их — нет;

* Термины логических ошибок.

никому не охотно запретить о «собаке», когда, может быть, она — «лев»; загрызение — тоже реклама; и кроме всего: бить лежачего, выписав из Петербурга его, — просто даже — смешно: Мережковским подвел Трубецкого М. С. Соловьев, Трубецкой — подвел общество; этот скандал заминаем молчанием (старцы горазды в искусстве замина); о главном, конечно, ни слова; а о мелочах — можно.

И выпускают отца; он — смелее; не спец в философии он; он ценитель романов Д. С.; уцепившись за замечанье о том, что у интеллигенции есть только «нет», а не «да», прибодрясь, точно на коня, он сияет, рукой, головою показывая перед собою висящие в воздухе «да»: пункт, подпункт, — довод «а», довод «b», довод «с»; и окидывает нас довольными глазками; он — убедит Мережковского! Тот только хлопает оком, не слушая, видно, и не понимая: его нагота все ж любезно прикрыта отцом, ничего не понявшим; и вот Мережковский, осклабясь, рыкает отцу, отца не поняв: де отцу, убежденному позитивисту (вздор!), материалисту (вздор!), вовсе не виден мир нуменов (нумен — понятие; видеть нельзя его!); мой же отец, ничего не поняв в новой ерунде, где и Кант видит нумены, где и Мошотт смешан с Миллем, ему не перечит, поглаживая бороду и с любопытством разглядывая сей курьез, поднесший белиберду эту; совершив свою миссию, отец успокоился.

Далее — хуже: внезапно восстал над зеленым столом сам Владимир Иваныч Герье, как мертвец «Страшной мести» из гроба; брезгливый, прямой, оскорбленный и бледный — пускается плакать в свою седоватую бороду, перечисляя все промахи против истории в сей «меледе», именуемой странно — «Научный доклад»! Как Рамзес, из стеклянного гроба глядящий в Булакском музее, поплакав в свою седоватую бороду, он опускается в свой саркофаг: умирает на тризне печальной; вскочил, ставя руки костяшками длинных своих волосатых пальцев на стол, князь Сергей Трубецкой (силуэтом — верблюд, фасом — пес); начинает с картавым надменством, с убийственным, — с княжеским, — сухо цедить:

— «Вы сказали, а... сказано тут: между тем...»

Что «белиберда» — князь не сказал; но движение плечей, поворот головы, то к Герье, то к Лопатину, явно кричали:

«Вы видите — что?»

И Лопатин, взусатясь, запрыгал овечьими глазками; и с перетером ручончек, маленьких, точно у девочки, что-то рокочет; и бороду старого лешего тычет под чье-то ушное отверстие; и слышится:

— «Хо!..»

Он, как мне потом передали, все кому-то шептал, тыча бороду в сторону Гиппиус:

— «Хо-хо... хорошенькая!..»

А выступать наотрез отказался: «князь» — малый ребенок, что выступил; старый леший Лопатин себя не унизит до спора; вместе с него встал чернобородый какой-то; про что-то свое говорил.

— «Кто?»

— «Шарапов, Сергей!»

Издавал журнал «Пахарь»; последняя жердь от традиций Самарина.

Был-таки, был Иловайский, развалина дряхлая, или блондин в парике (кудерьками, колечками); он, говорят, щелкал только мазурками по паркетам в те годы, впав в детство, — на журфиксах своих, а не «Историями» — древней, средней и новой; и тоже престранный листок издавал: под названием «Кремль».

Все!

Писатель стоял, окруженный «своими», и хлопал глазами растерянно, отколовши скоки и брыки под черной вселенной Коперника, — не перед этими старцами; о, о, — багровые ужасы пучились в шеях багрового вида матрон; и как свеклы всходили у них на щеках; реферат — не провал, а — похуже; стилистически статья бы прекрасна была, — напечатай ее в декадентском журнале; только чтение ее в университете — нелепость во всех отношениях; идя в это общество, он бы мог фиговый вывесить листик: понятие; хоть бы для виду прикрыл неприлично пропущенную напоказ, налитую соками метафору; мог не читать — рассказать языком, всем понятным; читать же стилистику этого рода — романсик «Уймитесь, волнения страсти» пропеть, чтобы страсть разбудить в груди плаксы Герье, вынимая ее из постели повесткой: «Научный доклад!»

О, на вечер дуэтов (сопрано — Оленина-д'Альгейм, баритон — Мережковский) Герье бы охотно пошел; но не тащат д'Альгейм — в зал правления университета.

И было обидно.

— «Ведь вот недотяпа!»

И давнишнее неприятное впечатление от Мережковского, злого и хмурого, смылось другим:

«Прост до ужаса, коли полез, как куренок, во рты пожирал схоластических тонкостей!»

И пробудилась симпатия: сквозь антипатию.

Утром узнал продолжение вечера: от Соловьева, М. С.: «старцы», общий конфуз обсудив, порешили забыть реферат, чтобы

как романиста «honoris causa» Д. С. предложить в члены Общества; даже они — захотели: поужинать с ним.

Соловьев фыркнул в руки, — из тальмы:

— «Ну вечер же... Неописуемое... Вы и представить не можете; уж и не знаю, как вылетел с ужина я, не увидав конца!»

— «Что же было?»

М. С. принялся мне описывать в лицах: я передаю итог слов.

Были: князь Трубецкой, Лев Лопатин, Рачинский, отец, кто еще — не упомянул; Д. С. Мережковский с своей стороны пригласил: В. Я. Брюсова и «скорпионов»; на ужин явился поклонник писателя, Скрябин; едва они сели за стол, начались инциденты: сперва — с Трубецким; он, сев рядом с писателем, со снисходительно-непереносным, сухим любопытством пустился оцупывать «зверя», и — слышалось:

— «Вы говорите, а...»

Д. Мережковский, «простая душа», тут же пойманный в сеть паука философского, мухой подергавшись, — бацнул в лицо Трубецкому, доверчиво склабясь, как будто ему собираясь поведать приятную новость:

— «Вам, как человеку вчерашнего дня, не дано понимать это!»

— «Как?.. Но позвольте, — пришел в ярость “князь”, — на каком основании? Мы одного ж поколенья с вами!»

Д. С., вдруг расклабясь, резиновой дугою на Брюсова, руки бросая к нему, как ребенок, просящийся на руки, с легкостью, уподобляясь пушинке, взвешиваемой в воздух, забыв, что в его ж построении Брюсов — труха, им сжигаемая для пожара вселенной, с восторгом прорывал:

— «Вот, вот — кто о будущем!»

Сказано; с воплем поставлено старцам под нос: старцы побагровели, а «князь» стал зеленый, увидев не фигу под носом своим — декадента: с таким мефистофельским профилем!

Он был сражен: «декадента» просил читать; и случился скандал номер два, когда Брюсов поднялся: и — руки по швам — с дикой нежностью проворковал:

Приходи путем знакомым
Разломать тяжелым ломом
Склепа кованую дверь:
Смерти таинство — проверь.

Мертвеца изнасиловав (таков сюжет стихотворения), сел, с невиннейшим видом потупив глаза.

Чувство, всех задушившее, — было ужасно: Лопатин обдал своим шипом, как паром, пускаемым паровиком на дрожащий, взволнованный стол:

— «Он — бездарность махровая!»

Из тишины разорвался надтреснутый вывизг отца:

— «За такие деяния — знаете что? Да — Сибирь-с!»

В пику Брюсову, тут же отец заявил, что и он — стихи пишет: да-с, да-с! В пику Брюсову — с ревом восторга просили отца: прочитать; в пику Брюсову — с ревом восторга ему выражали восторги; отец раздольный (поэта за пояс заткнул), подобрев, стал громчайше описывать шутки из жизни чертей (из программы своих каламбуров); тут каждый принялся кричать про свое. Лев Лопатин же дернул за Гиппиус, как холостяк — за хорошенькой горничной.

— «Что было дальше, — не знаю, — закончил М. С. Соловьев, — я сбежал!»

Вечер — разъединил еще более: и Мережковского забаллотировали; о Гиппиус вспыхнули рои легенд; репутация Брюсова как скандалиста ствердилась: в гранит.

Числа эдак девятого я, забежав к Соловьевым в обычный свой час, встретил Гиппиус; и — поразился иной ее статью; она, точно чувствуя, что не понравилась, с женским инстинктом понравиться, переродилась; и думал:

«Простая, немного шутливая умница; где ж перепудренное великолепие с камнем на лбу?»

Посетительница, в черной юбке и в простенькой кофточке (белая с черною клеткой), с крестом, скромно спрятанным в черное ожерелье, с лорнеткой, уже не писавшей по воздуху дуг и не падавшей в обморок в юбку, сидела просто; и розовый цвет лица, — не напудр, — выступал на щеках; улыбалась живо, стараясь понравиться; и, вероятно в угоду хозяйке, была со мной ласкова; даже: держалась ровней, как конфузливая гимназистка из дальней провинции, но много читавшая, думавшая где-то в дальнем углу; и теперь, «своих» встретив, делилась умом и живой наблюдательностью; такой *стиль* был больше к лицу ей, чем стиль «*сатанессы*». Поздней, разглядевши З. Н., постоянно наталкивался на этот другой ее облик: облик робевшей гимназистки.

И Соловьева оттаяла; хмурь, — та, с которой молчала о Гиппиус, точно рассеялась; но вскоре — усилилась хмурь.

Я прочел поэтессе стихи А. А. Блока, еще неизвестного ей; З. Н. губы скривила, сказав что-то вроде:

— «Как можно увлечься таким декадентством? Писать так стихи — старомодно; туманы и прочая добролюбовщина * — давно изжиты».

На стихи Блока она реагировала совершенно наоборот: через года три; и произошли неприятности с С. Н. Булгаковым, забравшим статью.

Высокая оценка Блока культивировалась в 1901 году только в нашем кружке **.

Мы просили З. Н. прочитать нам стихи; и прочла:

Единый раз вскипает пеной,
И разбивается волна:
Не может сердце жить изменой,
Любовь — одна: как жизнь — одна!

В ее чтении звучала интимность; читала же — тихо, чуть-чуть нараспев, закрывая ресницы и не подавая, как Брюсов, метафор нам, наоборот, — уводя их в глубь сердца, как бы заставляя следовать в тихую келью свою, где — задумчиво, строго.

То все поразило меня; провожал я в переднюю Гиппиус, точно сестру, — но не смел в том признаться себе, чтобы не изменить своим «принципам»; и, держа шубу, я думал: она исчезает во мглу неизвестности; будут оттуда бить слухи нелепые о «дьяволице», которая, нет, — не пленяла; расположила же — розовая и робевшая «девочка».

С этой поры я внимательно вчитываюсь в ее строчки; и после А. Блока сильно на них реагирую: символистами умалена роль поэзии Гиппиус: для начала века; разумею не идеологию, а стихотворную технику; ведь многие размеры Блока эпохи «Нечаянной радости» ведут происхождение от ранних стихов Гиппиус.

Я ПОЛОНЕН

Мережковские тут же уехали; у Соловьевых молчали о них; я считал себя в стане врагов их; но я отклонял обвиненья в раденьях.

И вот: сформулировав в тезисах свое «нет» Мережковскому, тезисы эти прочел Соловьевым; они согласились с ними; тогда я

* Она разумела стихи Александра Добролюбова, декадента, ставшего главарем секты.

** Напоминаю: в 1901 году никакого Блока как поэта не существовало еще: был юноша «Саша Блок», родственник моих друзей; и его-то мы, как еще никому не известного поэта, и пропагандировали, кому могли.

решил превратить их в письмо к Мережковскому: пусть он ответит: в печати; под ним подписался: «студент»; и — отправил.

Через несколько дней присылают за мной; лечу вниз, меня встретила Ольга Михайловна:

— «Письмо — от Гиппиус!»

Гиппиус просит О. М. раскрыть ей «псевдоним» — письма, ими полученного: моего: автор-де из кружка Соловьевых, — и, конечно же, «Боря Бугаев», ругающий-де их в Москве (Поликсена, наверно, насплетничала); письмо — первый-де ответ на вопрос, ими ставимый обществу: Д. С. — взволнован-де; Розанов-де счел письмо «гениальным»; они же не выскажутся: до свидания с автором; оно должно состояться на лекции: Д. С. читает в Москве; пусть же автор зайдет после лекции: в лекторскую.

Был я взволнован согласием на возражение: в сущности, я написал на жаргоне тогдашних «Симфоний» моих, не подозревая, что именно этот жаргон и понравится, а возражение, написанное на «жаргоне», проглотится; так что: меня пугал разговор; Соловьева его представляла готовящимся ратоборством «Зигфрида» с ужасной змеей, в результате которого «Боренькой-Зигфридом» глава змеи — будет стерта; так кончится спор, начатый Соловьевым с Василием Розановым; Мережковский, иль — «детище» Розанова, будет-де «Борей», их «детищем», — бит.

В этой гипертрофии меня изживалась болезнь, подступающая уже к Ольге Михайловне; «Зигфридом» не ощущал я себя; Мережковского не ощущал я «змеей»; фальшивейшее положение не сознавалось Ольгой Михайловной, которая мое возражение поворачивала на возражение от... Владимира Соловьева; тут сказывалась меня все более мучившая, скажу прямо, неподготовленность Соловьевых понимать меня в наиболее одушевлявших стремлениях; уже естественно-научные интересы находили мало в них отклика; скоро потом: выявленные несогласия с Соловьевыми и оговорки, делаемые Владимиру Соловьеву, воспринимали они как оговорки «от Мережковского»; и никто уже ничего не хотел понимать, когда я проповедовал четвероякий анализ явления, — каждого: как простой данности факта иль тезы, как выпещленного из него отвлечения или понятия, являющего с фактом двоицу, как идентичности факта — понятию, понятия факту (триадность) и как, наконец, проницания факта понятием, факт перестраивающим.

Я в первом разгляде выглядел студентом-естественником, не без тенденции к механицизму; во втором разгляде я определял себя как методолога-формалиста; в третьем приеме подхода к

фактам я выглядел для себя самого синтетиком, но в трех этих гранях я чувствовал себя тесно; в четвертой и был символистом*.

Моя авантюра с письмом к Мережковскому до такой степени переволновала меня, что я, разумеется, перенес ее и в химическую лабораторию, где работал я и два будущие «аргонавта». Петровский, Печковский и я, то и дело бросая приборы, друг к другу шли и, перекинув прожженные полотенца через плечо, обсуждали с волнением мои тезисы возражения Мережковскому; удивлялся шнырявший Крапивин (вероятно, рос счет битых склянок); юморист же С. Л. Иванов являлся, болтая заткнутою пальцем колбою; и вдруг, отомкнувши ее, совал ее в нос мне:

— «Чем пахнет?»

— «Сероводородом».

— «Ага!» — угрожающе он говорил; и шел прочь. Этот жест предостережения значил: «Смотри — зарвешься»; но я, не внимая, кипел; опыт молодости и крик доказыванья, с резолюцией на него все равно чьей, — Мережковского, отца, Соловьевых, Петровского, С. Л. Иванова:

— «Мало понятно!»

Малопонятность — не только от перегруженности моего словаря терминами, но и от постоянного стремления, изучив технический жаргон того, что стояло в поле внимания, упражняться в нем, независимо от согласия или несогласия с мыслью; я устраивал семинарии по изучаемому предмету, выбирая слушателей, чтобы говорить не им, а себе самому.

Сознавал: происходит несносная путаница, в результате которой возникнет лишь большая: в случае близости, как и вражды с Мережковскими; это меня угнетало.

Доклад Мережковского, кажется «Гоголь», прочитан был им в феврале 902; я с чувством «быть худу» отправился на него с А. С. Петровским; Соловьева, взволнованная, прилетела в «Славянский базар» к Мережковским; присутствовавший при свидании Брюсов записывает, что «пришла... Соловьева»; «она была немного больна и напала на Дм. Серг. яростно: “Вы притворяетесь, что вам есть еще что-то сказать. Но вам сказать нечего. У кого действительно болит, тот не станет говорить так много”»**

Она, пригласив Мережковских, С. А. Полякова, Ю. К. Балтушайтиса, Брюсова, — вдруг отменила свиданье, сказавшись

* Напоминаю: речь идет о прошлом, которому давность 31 год; я привожу эти мысли как образец витиеватости моего тогдашнего жаргона.

** Брюсов. Дневники. С. 118.

больной; это было — разрывом: с Мережковским; не высидев лекции, она — уехала; передавали, что Гипшиус, сидя лицом к многочисленной аудитории (амфитеатром), с ботинок сияющей пряжкой своею лучи наводила: на лбы и носы.

Мы с Петровским сидели в четвертом или пятом ряду Исторического музея, волнуясь мне предстоящим заходом к Д. С. Мережковскому: в лекторскую; вижу: Брюсов ведет на меня невысокого, одутловатого, голубоглазого, бледного очень блондина, лет средних:

— «Борис Николаевич, — прошу покорнейше вечером, завтра — ко мне: Мережковские будут... Позвольте, — он мне показал на блондина, — редактор журнала “Новый путь” Петр Петрович...»

Блондин перебил его:

— «Перцов», — и руку мне подал с приветливо-добрым нахмуром, сказав глуховатым, невнятно лопочущим голосом:

— «Просьба к вам: вы разрешите печатать отрывки письма к Мережковскому, — вашего, в нашем журнале... Об этом потом перемолвимся... Дмитрий Сергеич вас ждет: в перерыве...»

Петровский заметил ехидно:

— «Попались!»

— «Ох — в пятках душа!»

— «Коли груздем назвались, пожалуйста в кузов».

Я лекции так и не выслушал; сердце стучало: ну, как я войду, что скажу?

Перерыв: плески аплодисментов; и я потащился, как на эшафот, переталкиваясь средь плечей и локтей; еле лекторскую отыскал; стал под дверь, войти не решаясь; и ждал: кто пройдет, чтоб за ним проюркнуть; никого; наконец — я решился: толкнулся; дверь с легкостью необычайной распахнулась — в лоб Мережковскому.

— «Зина, вот он», — раздалось.

Мережковский сидел, очень маленький, ноги расставив, на стуле, платком отирая испарину, другую руку повесил на спинку; свисала изящная, маленькая кисть руки, точно дамская.

Перегибаясь вперед, точно жердь помавающая, ручку слабую не дотянул, не вставая со стула, — такой изможденный и точно расплавленный лекцией; множество мелких морщинок изрезали кожу лица.

— «Вы после лекции к нам заезжайте, в “Славянский базар”; будут наши друзья; о дальнейшем условимся; будете завтра у Брюсова?»

— «Буду».

Испуганно стал отговариваться:

— «Тут приятель мой...»

— «Вы приводите приятеля».

Бросив меня, Мережковский себя по коленке захлопал, уставился в Гиппиус; и ей кивком — на меня:

— «Зина, стыдно!.. Такой молодой он! А мы-то?»

Я же — стремглав: вон из лекторской.

— «Едете?» — я обратился к Петровскому, очень надеясь, что он не поедет (и — я).

— «Едем, едем!»

Предлог улизнуть — ускользал.

Вот и давка разъезда; Петровский, мой якорь спасения, — куда-то исчез; осенило:

«Не еду один!»

Подколесин сбежавший, — бежал разговора: ведь завтра же встречусь: на людях, у Брюсова!

А. С. Петровский, меня потерявши, поехал один; на другой день рассказывал об этом чае с каким-то Алехиным, бывшим сектантом: Д. С. с ним носился:

— «Жалели, что не было вас, удивлялись... Представьте-ка: Гиппиус мне протянула бокал, чтобы чокнуться: “За конец мира!” Ну, я ей ответил, что я отвергаю подобные тосты... И главное: я не взял денег, а подали счет».

— «Ну?»

— «Я занял у Брюсова».

Чувствовал, как поднимался во мне этот страх: разговор предстоял-таки: «Зигфрид», придуманный Ольгой Михайловной и аттестованный Розановым, ощутил себя «Боренькой» глупым.

И помню, как я должен был объяснить отцу, что у меня завязалось знакомство с Мережковским.

— «Я, Боренька, не понимаю, собственно говоря, — почему», — произнес он со страхом; и тут же себя оборвал и награнивал по столу пальцами:

— «Да-с... Писатель... Пишет... Ох-хо-с...»

И пошел от меня.

Со страхом отправился я к Брюсову.

Там произошел новый номер: Д. С. Мережковский — центр вечера; Брюсов и гости обстали его (из гостей помню Минцлову); он, ставши хмуриком, не отзывался; меня взявши под руку, к столу повел, рядом сел, не повертывая головы на меня; все исчезло — стол, Брюсов; в тумане — глаза из лорнетки: не Гиппиус — Минцловой! Влипла. Мы, сидя вполупорот, глядя в пере-

сечение прямых, произведенных от наших носов, ткнулись в точку расстеленной скатерти.

Д. С. забрасывал роем вопросов; и после молчал; формулировал мне он мои же вопросы, придав им свой стиль, свою лепку, в которой силен был; но кружево мыслей моих, в его новой редакции, огрубевая, рождало рельеф; так он, перелепив мой вопрос в свой фасон, подавал свой ответ: на фасон его собственный; мысль оставалась, но смысл в ней менялся; и я ему ставил вторично вопросы: по-моему, — не по-его: разговор протекал в специальном жаргоне, которым владел, проштудировав Розанова и раскрасив его моей палитрой схем, моих красочных уподоблений; Д. С. же внимал с напряжением; как сел за стол, так остался, не переменив своей позы: в полуобороте видел ухо, растительность (почти до скул), нос, меня поразивший размерами, странной неправильностью, вздерг затылка, являющего продолжение спины, зализь жидкой прически, пробор очень чистенький; глаз я не видел, вперяся в пересечение перпендикуляров от наших носов — в кусок скатерти; точно играли в невидимые шахматы: сделавши ход, ожидали подолгу ответного хода, обдумывая положение: невидных фигурочек.

Так протекал разговор; он — единственный в своем роде; в нем Мережковский прослушал меня, поняв порами кожи, а не разумением, явивши искусство больших игроков, ставя мат мне в три хода своим доказательством на специальном наречии, мне отвечающем: все возраженья мои — диалектика мысли, его же де!

Я еще не знал обычного его приема спорить: там именно, где вы с ним не согласны, он подменяет вопрос о согласии или несогласии вопросом о действии и созерцании:

— «Может быть, вы и правы, а мы не правы, но вы — в созерцании, а мы — убогие, слабые, хилые — в действии; вы — богаты, мы — бедны, вы — сильны, мы — слабы».

Стоишь оболваненный: слушаешь:

— «Но в немощи нашей создается наша сила; мы — вместе, а вы — одни, мы ничего не знаем, а вы все знаете, мы готовы даже отказаться от своих мыслей, а вы — непреклонны».

Сконфуженный, начинаешь отнекиваться:

— «Помилуйте, я и сам отнекиваюсь».

И тут, обойдя, поднимает он рык:

— «Так идите, учите нас».

— «Просто не знаешь, что делать, — юморизировал позднее Бердяев: — они обволакивают!»

Так и меня обволокло-таки в тот незапамятный вечер. Да, да, — «партию» я проиграл: этот проигрыш — плен мой в годах; плен — в том, что я мог бы де их переучивать.

Было странно сиденье писателя маленького, с длинным носом, вперенного в скатерть, с юнцом, тоже в скатерть вперенным; сей стиль был несвойственен здесь; неприлично писателю на званом вечере ставить гостям хмурый профиль свой; и неприлично юнцу непрославленному («Что ты, Боренька?») так отнимать «имени-того» гостя у общества; я упустил простой факт, что я — притча уже «во языцех»:

— «Смотрите-ка: Брюсов ухаживает!»

— «Мережковский лишь с ним говорит!» Через два с половиной месяца вышла «Симфония», и объяснилось — все.

Разговор прервал Брюсов, косившийся явно; он высадил из разговора меня, подав хмурого гостя гостям; зачитали стихи: З. Н. Гиппиус и Балтрушайтис; прочел В. Я. Брюсов впервые:

И лестница все круче,
Все круче, круче всход!

Мережковский читать свое отказался: прочел Тютчева; вдруг он осклабился строчкой последней, со странной любезностью выгнулся, схватываясь за коленку; строка прозвучала по-новому от потрясающей простоты интонации:

Вот почему нам ночь страшна!

— «А?» — он рыкнул, приглашая дивиться: осклабом лица. Между прочим: хвалил стихи Брюсова.

Мы с ним условились: завтра приду я в «Славянский базар», чтобы договориться: втроем; для других они будут невидимы.

Не возвращался — летел как на крыльях, ликуя, что вышел союз с Мережковским, и не понимая, что партия — бита, что — мат и что — пленник на годы! Смущало: что скажет О. М.?

На другой день я к ней забегал; отправляла меня к Мережковскому все с тем же упорством; зачем этот аллегорический меч?

Я же шел договариваться, а не биться.

Но точно меня опоясала им.

ХМУРЫЕ ЛЮДИ

Результат договора ударил как громом: О. М. бы сказала: «пакт с дьяволом!»

Комната в «Славянском базаре» — в кирпично-коричневом тоне: в таком, как обертки всех книг Мережковского; мебель — коричневая; Мережковский связался с коричневым цветом — обой, пиджака, бороды и оберток томов; фон квартиры, что в доме Мурузи, — такой же; обои, и мебель, и шторы — вплоть до атмосферы, которую распространяла она; и та — коричневая; очень часто я в ней ощущал сладковатые припахи, точно корицы, подобные запахам пряных бумажек; и припах корицы мне нос щекотал; я сразу же обратил внимание на специфическую атмосферу, поздней столь известную мне; атмосфера висела, как облако дыма курительного. Куда б ни являлись они, — возникала: в Петербурге, в «Славянском базаре», в Париже и в Суйде, где жили на даче они и где я у них был.

А на уличном свете она становилась точно туман, и лицо Мережковского казалось в тумане зеленым; вне дома, теряясь, терял он: подозревал, что шушукаются, что обстание всякое — враждебно ему; вне дома он умел иногда брать приступом целые аудитории, вдруг разоравшись; а в гостях он просто боялся и иногда говорил совершенные глупости; дома — он в тувельках шмякал; и, точно цветок на заре, раскрывался в курительном облаке, — под абажуриком; а вот выйдет, бывало, на Невский; смотришь — не тот: зеленее зеленого; глаза — в провалах; как тени от облака, злого, холодного, — перебегали по нем; в квартире же повиснувшая атмосфера его точно ширилась; делалась — золотокарей, немного пожухлой, немного потухшею.

Пахло корицами.

В гостях маленький, постно-сухой человечек с лицом как в зеленых тенях и с кругами вокруг глаз, — многим он напоминал проходимца.

И даже: казался он глуп.

Лишь в присутствии близких импрессия эта менялась: и то, что казалось извне подозрительным, выглядело как пленительное; Мережковский казался своим.

Отдались, — все менялось!

Поздней я не верил — ни в хмурь, ни в пленительность; морок пустой; глупо дуться на то, что из пальца, насыщенного электричеством, искрой уколется: булавок тут нет никаких!

«Электричество» — тот особый, пленяющий с непривычки «шарм», которым они обволакивали того, кто им вдруг начинал казаться нужным; и тут — невнимательные — они делались — само внимание; это внимание, соединение силы (муж, жена, Философов), — они направляли на старцев, дам, девочек, юношей и старушек; кого-кого в свое время не пленили они на час:

старика-миллионера Хлудова, Бердяева, Волжского, еще гимназисточку, Мариэтту Шагинян, Борю Бугаева, анархиста Александрова; ведь пленили же... Савинкова!

Множкратно встречался с людьми, пережившими фазы колючек и шарма.

Д. С. и З. Н., точно кружковые трубки из хладных стекляшек, простым поворотом каких-то винтов начинали в интимной среде точно фосфоресцировать.

Мне Мережковский, пленяющий, напоминает портрет Леонардо осклабом смешков, пуком глаз, лаской жестов, каких-то двузначных, картавыми рыками; сидя в коричневом кресле, полуразвалясь на него, упав корпусом в локоть, как бы казался порой прозрачным лучами осеннего, мглистого солнца и белою женщиной с ярко-сапфировым глазом, метаемым как из-за красных лисичьих хвостов: волос; так чету Мережковских сработал бы, думаю я, Леонардо да Винчи, назвав свой портрет «Улов рыбы».

Опять-таки — Бердяев был прав:

— «Спорить нельзя: протестуете, — Дмитрий Сергеич зарывает на вас: “Прекрасно, вы не критикуйте, а нам помогайте: вы — наш, а мы — ваши!” Оказываешься с своим “против” — внутри кружковой атмосферы их».

И это же высказал раз В. В. Розанов, зайдя в гостиную к ним: — «У вас духом особым несет: что вы делаете, оставаясь одни?»

Разумел — то же самое: стиль коллективного шарма, в который З. Н. приносила ум и хитрую ласку; Д. С. приносил свою хмурь, тень Рембрандта, напуг, выпук глаз, всосы щек, что-то постное в поступи.

«Рыбе», ловимой в сетях рыже-красных волос, из которых сиял этот «сестринский» вид, говорящий о том, «чего нет», — начинало казаться: в сетях атмосферы укрыто, что завтра откроется!

Не открывалось. Мелочные люди замыслили общину, в недрах которой зажжется огонь: всей вселенной!

Не вспыхивал!

И завлеченная «рыба», — Антон Карташев, Философов, — за полным отсутствием дела «четой» отсылались в газеты: устраивать вспыхи бумаги.

Не вспыхивала публицистика слабая!..

Бедная Ольга Михайловна, перепугавшаяся там каких-то радений: пристойная община! Бедный Д. С., сколько шепотов он возбуждал! Не намерен его защищать: в светской жизни они были мелочны; лучшее приберегали для общины.

Участь «своих», посылаемых за неимением религиозного дела в газеты, — остаться в газете; и даже в газетной общественности: позабыть свою «миссию».

На атмосферу ловился и я с того мига, как дверь отворил в номер, занятый ими в «Славянском базаре»: в сквозном рыже-красном луче из окна, озарявшем коричнево-серое кресло и карюю пару писателя, маленького, раздалось из-за взрыва сигарного дыма рыканье картавое.

Пахло корицами.

Стиль всей беседы:

— «Вы — наши, мы — ваши!»

Расплыв черт лица, зараставшего почти до скул волосами, белейшие зубы, оскаленные из коричнево-красных разорванных губ, эти легкие, плавные, точно тигриные жесты, с которыми Д. С. усаживал, рядом садясь, — взволновали меня; в незакрытой двери — видел: Гиппиус тихо прошла белой талией, почти невидной в распущенных, золото-розовых космах: до пят; через пять минут вышла, сколов кое-как свои космы: дымок, восклицанья отрывистые:

— «Дмитрий, ты понимаешь его?»

После открылось уже, что сердца — в голове, что в груди вместо сердца — оскаленный череп, что в эти минуты они, как пылинки, — на ветре идей: ветер — северный, дующий с озера Ладожского, переверты пылей поднимающий; в выпри взлетов, остывали они столь же искренне, сколь закипали, чтоб жизнь прокрутить на холодных проспектах холодного города: преть, планы мыслить, — журналов, газет, — с Богучарскими, со Струве, Базаровыми, с Вильковысскими и даже... с Румановыми, точно с близкими; и рассыпать даже эти проекты: пылями проспектными.

Я же поверил, что я — полноправный, что я — нареченный Д. С. «младший брат», когда слушал:

— «Вы — близкий; мы вас оставляем здесь, как в стане врагов; верьте нам, не забудьте; не слушайте сплетен!»

В решительный миг под писателем кресло сломалось: он с креслом упал; поднимаясь, счищая с коленок соринки, осклабился, вспомнив, что так упал Розанов прямо под кафедрую Соловьева, читавшего «Три разговора».

Прощаясь, мы обнялись и условились: будем друг другу писать; я дал адрес химической лаборатории; было удобнее так.

Но, звонясь к Соловьевым (я дал обещанье О. М. рассказать о свидании), был не в себе еще, точно клочок атмосферы, как лег-

кий дымок папиросный, пристал к волосинкам тужурки, отвей-
ваясь и дымясь вокруг меня.

Дверь открыла О. М.:

— «Ну, — и что?»

Но, увидев меня улыбающимся, только махнула; и — бро-
сила:

— «Вижу: пропала Катюша!»

Какая такая?

Но, перевернувшись, О. М. пошла — прочь, ни о чем не спро-
сив; я — поплелся домой.

ИЗ ТЕНИ В ТЕНЬ

Впечатлением от встречи с Мережковскими я ни с кем не де-
лился, как тайной, и ждал их отклика из Петербурга;

и он появился; скоро швейцар мне подал в лабораторию тем-
но-синий конверт; разрываю: в нем — красный конверт, его раз-
рываю: в нем белый, с запискою, несколько слов: лишь — «ау» —
в стан «врагов».

Началась оживленнейшая моя переписка с Зинаидою Гиппи-
ус; изредка и Мережковский писал мне.

Оба звали меня в Петербург, но я не поехал уже: «Симфония»
Андрея Белого вышла; я делал усилия, чтобы сохранить псевдо-
ним; мать с отцом поехали в Питер: в конце апреля.

В начале мая вернувшись в Москву, мать спросила меня с удив-
лением:

— «Ты переписываешься с Мережковским? Зачем ты скрыва-
ешь?»

Кузен Арабажин, знакомый Барятинского, друг Яворской,
сотрудник «Биржовки» и «Северного курьера», закрытого вско-
ре, явился к родителям и с удивлением им сообщил, что на днях,
повстречавшись с Д. С. Мережковским, он слышал, как этот пи-
сатель хвалил в выражениях для Арабажина необъяснимых, —
меня:

— «Понимаешь ли, дядя, — он читает вслух письма «Бориса»
своим друзьям?»

Арабажин, поверхностный фельетонист, меня знавший как
«Бореньку», спрашивал, в чем корень дружбы с «Борисом» са-
лонных львов.

Мережковские портили мне разговоры с О. М.; я не мог уже
слушать стиля ее рассуждений о Гиппиус; и мы прекратили бе-

седы на эти тяжелые для меня темы; в поджиге губы и во взгляде О. М. на меня установился между нами порог: до конца ее жизни.

И Брюсов весьма любопытничал. Весь тот период густо окрашен мне Мережковскими; куда ни придешь, — говорят о них; в лаборатории говорим о них; в студенческой чайной, бывало, соберемся: Петровский, Печковский, Владимиров, я, — тотчас же разговор поднимается о Мережковских: ведь тайну синих конвертов, подаваемых мне швейцаром лаборатории, мои друзья знали: бывало, Печковский спрашивает, взглянув на конверт:

— «От Гиппиус?»

С Гиппиус переписывались мы чуть ли не каждую неделю; а так как дома мать неизбежно спросила бы, кто это пишет мне (характерные очень конверты), то пришлось бы признаться, что я веду усиленную переписку с писателями, которые все же внушали тревогу отцу (боялся за сына); поэтому я и дал адрес лаборатории.

Брюсов тоже расспрашивал меня о Мережковских так, как будто я «спец» по ним; и делалось неприятно от этого назойливого любопытства; Мережковские ведь умели кружить головы людям; холодные «в себе», они могли казаться такими нежными; меня — захваливали они; я-де и замечательный, и новый; и «Симфония»-де моя — замечательная; было от чего потерять голову юноше, которого до сих пор жизнь держала скорее в черном теле.

Только О. М. Соловьева — мне ни звука о Мережковских; и вдруг:

— «Гиппиус — дьявол!»

И хотя я знал, что злость О. М. на Гиппиус — не идеология, а недомогание, я вскакивал и в совершенной ярости убежал. Через день О. М. присылала письмо: мириться.

Верен я был Михаилу Сергеевичу Соловьеву, когда я некогда встал: против Гиппиус и Мережковского; но, оставаясь верным своей переписке с З. Н., встал я самостно против О. М. Соловьевой; и это все выразилось: в автономно возникшей для меня квартире Владимировых, куда я стал чаще теперь убежать; и также — квартире Метнеров; на Соловьевых в одном (лишь в одном отношении) гляжу как на прошлое, уже законченное семилетие; во мне нудится новое, будущее именами, которые вместе — зенит и надир: Мережковские, Брюсов, уже обещающие мне блестящую литературную деятельность; Брюсов — толками о «Скорпионе», Д. С. Мережковский — зовами в проектируемый «Новый путь»; Брюсов мне в эти дни — новая литература; и — только; а путь с Мережковским — «не только» литература.

Ты пойми: мы — ни здесь, ни — тут.
 Наше дело — такое бездомное.
 Петухи — поют, поют...
 Но лицо небес еще темное.

Гиппиус.

«Только», «не только» — Москва, Петербург: и восьмерки, мной писанные, семилетье меж ними есть ужас, мне еще не видный в 1902 году; отход огорченный без ссоры от Брюсова, от Мережковского кончился бегством моим из Москвы, Петербурга, России: на Запад.

.....

Уже с 1902 года Брюсов втягивал меня в жизнь «скорпионовской» группы; З. Н. меж интимных строчек ознакомляла меня с петербургскою жизнью; весной сообщила, что был у них Блок и что он произвел впечатление (я ей завидовал); она звала меня в Петербург, чтобы я в настоящем общественном воздухе выветрил дух «Скорпиона» в себе (тут она сфантазировала: больше дух «анилина», которым несло в нашей лаборатории): не понимала она: «декаденты» — для меня лишь нота в октаве, лишь краска на спектре, октавой моею была не поэзия: была... культура!

З. Н. в письмах обещала меня познакомить не с «выродками», а с людьми «настоящими», «новыми»: думаю — с сестрами, Татой и Натой, с В. В. Розановым, с Философовым и с Карташевым; их друг, Философов, тогда раздваивался между «Миром искусства» и Мережковским, тащившим его в «Новый путь»: петербургская группа распалась на снобов художников и на писателей; в «Мире искусства» был дружеский отзыв о книге моей; скоро я стал сотрудником «Мира искусства»: вполне неожиданно.

Так было дело: открывалась выставка «Мира искусства» в Москве; посетитель всех выставок, был, разумеется, я и на выставке этой, пустой почти; тонные, с шиком одетые люди скользили бесшумно в коврах, меж полотнами Врубеля, Сомова, Бакста; все они были знакомы друг с другом; но я был чужой среди всех; выделялася великолепнейшая с точки зрения красок и графики фигура Дягилева; я его по портрету узнал, по кокетливо взбитому коку волос с серебристою прядью на черной растительности и по розово, нагло безусому, сдобному, как испеченная булка, лицу, — очень «морде», готовой пленительно маслиться и остывать в ледяной, оскорбительной позе виконта: закидами кока окидывать вас сверху вниз, как соринку.

Дивился изыску я: помесь нахала с шармером, лакея с министром; сердечком, по Сомову, сложены губы; вдруг — дерг, пе-

редерг, остывание: черт подери — Каракалла какая-то, если не Иезавель нарумяненная и сенаторам римским главы отсекающая (говорили, что будто бы он с Марьей Павловной, с князем великим Владимиром — запанибрата): маститый закид серебристого кока, скользящие, как в менуэте, шажочки, с шарком бесшумным ботиночек, лаковых. Что за жилет! Что за вязь и прокол изошренного галстука! Что за слепительный, как алебастр, еле видный манжет! Вид скотины, утонченной кистью К. Сомова, коль не артиста, прощупывателя через кожу сегодняшних вкусов, и завтрашних, и послезавтрашних, чтобы в любую минуту, кастрировав собственный сегодняшний вкус, предстать: в собственном завтрашнем!

Пока разглядывал я изошренную эту концовку, впечатанную Лансере в послезавтрашний титульный лист, — мне далекую и неприятную, вдруг осенило меня: предложить ей статью свою: «Формы искусства»; и вот безо всяких сомнений, забывши о том, что я — невзрачный студент, подхожу к кругло выточенному «царедворчеству» (избаловали меня: думал, — мне и законы не писаны!).

Вскид серебристого кока, и поза: Нерон в черном смокинге над пламенеющим Римом, а может быть, — камер-лакей, закрывающий дверь во дворец?

Тем не менее я представляюсь:

— «Бугаев».

И тут наглый зажим пухловатой губы, передернувшись, сразу исчез, чтобы выявить стиль «анфана», скорей пухлогубого и пухлощекого ангела (стиль Барромини, семнадцатый век); и с изящностью мима, меняющего свои роли, — изгиб с перегибом ноги назад, с легкой глиссадою, как реверанс, с улыбкою слишком простой, слишком дружеской, он, показав мне Нерона, потом — купидона, изящнейше сделал церемониймейстерский жест *Луи Каторз*:

— «Ах, я счастлив! На днях еще много о вас говорили мы!»

И, как по залам дворца, открывая жезлом апартаменты «Мира искусства», которого мебели — Бакст, Лансере, Философов, взяв под руку, вел к молодому и чернобородому «барину» в строгом пенсне, в сюртуке длиннополом.

— «Ну вот, Александр Николаевич, — позвольте представить вам Белого: он!»

— «Бенуа», — поклонился с отлетом, с расклоном, с изгибом руки Бенуа и повел под полотнище Врубеля: «Фауст и Маргарита».

— «Смотрите, — взмахнул он рукою, — вот титан! Я горюю, что не оценил его в своей «Истории живописи», — он посвящал меня в краски.

Так я был введен в круг сотрудников; и — озирались: кто этот прескромного вида юнец, кого Дягилев и Бенуа мило водят по залам.

Вопрос о статье не решался; была принята: с полуслова:

— «Конечно, конечно, — скорей высылайте, чтобы поспеть с номером!»

С тех пор я стал получать письма Д. Философова с чисто редакторскими замечаниями, с просьбою слать, что хочу; так факт дружбы с Д. С. Мережковским мне составил уж имя среди группы художников «Мира искусства». <...>

